

Слоним М. Чехов и Запад // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1944.
26 ноября. № 11901. С. 8.

Чехов и Запад

Когда Чехов писал в 1883 году свой рассказ «Дочь Альбиона» и изображал высокую тонкую англичанку с рачьими глазами и птичьим носом, которая с презрением смотрела на окружающих и за десять лет пребывания в России не выучилась ни слову по-русски, он, конечно, не представлял, что через пятьдесят лет тысячи «дочерей Альбиона» будут читать переводы его произведений и восторгаться его пьесами на английской сцене. Он считал, что займет очень скромное место в литературе, связанное с определенным этапом русской общественной жизни. «Всех нас будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Бежецкий, а 80 годы или конец 19 столетия», утверждал он в письме к Суворину. Но он ошибся: из всех упомянутых им имен, мы сохранили одного Короленко, а сам Чехов стал для нас не только бытописателем, изображателем «хмурых людей», но и одним из крупнейших представителей нашего искусства. Мало того: многим Чехов казался одним из тех насквозь русских писателей, «которых не в состоянии понять иностранцы». Современники часто указывали на то, что и в облике, и в творчестве Чехова проявились коренные свойства русского человека. Дорошенко говорил, что Чехов напоминал ему простодушного ларя, Куприн рассказывал, что в лице, говоре, оборотах речи Чехова было что-то чрезвычайно русское, народное, простоватое и скромное. По словам Горького, Лев Толстой, назвал Чехова: «вот вы — русский! Да, очень, очень русский». «И ласково улыбался, обняв Антона Павловича за плечи».

И, однако, этот чисто русский писатель, рассказывавший о мелочах провинциальной действительности 90 годов, о бездеятельных интеллигентах и полусонных мужиках, сделался широко известным на Западе. Его влияние за последние 20 лет неизменно растет, он продолжает быть одним из наиболее любимых и читаемых русских авторов, наряду с Тургеневым, Достоевским, Толстым. Некогда такой же популярностью пользовался Горький. Но сейчас Горького читают все меньше, а интерес к Чехову не ослабевает.

Я говорю не только о воздействии Чехова на ряд европейских и американских художников слова. Общеизвестен факт, что ряд английских писателей определенно подражал Чехову. Об этом рассказывает Госсуорси и Пристли. Мы знаем, как восторженно относилась к Чехову Катрин Мэнсфилд, автор тонких и глубоких рассказов. В Америке воздействие Чехова заметно и в романе Шервуда Андерсона «Уайнсбург Охайо» и в некоторых произведениях Хэммингвея. Еще определенное влияние Чехова на современный западно-европейский театр. Когда Бернард Шоу называл свою пьесу «Дом разбитых сердец» «фантазией в русской манере на английские темы», он, конечно, платил дань Чехову. В немецком, скандинавском, французском театре, не говоря об англо-саксонском, пьесы Чехова не только заняли выдающееся место в их репертуаре, но и породили целое движение, которое одни называли «психологическим импрессионизмом», а другие — «драмами настроений». Чехов внес в западный театр новые начала: замену действия «подводными течениями», диалог, подчиненный не логическому обмену мыслей, а определенной душевной «интонации», пейзаж, дирижу, недомолвки и паузы, как действительные элементы драматического изображения, и те перебои в тональности, которые определяли всю атмосферу чеховских пьес.

В рассказах и повестях Чехова западный читатель и пи-

сатель, конечно, находили те особенности его литературного метода, которые делают его творчество таким замечательным образцом высокого искусства: его сдержанность, экономия приемов, изысканную простоту, соединение реалистической наблюдательности с лирической дымкой, силу анализа, согретую внутренней лирикой, ритм словесного движения, передающий детали внутренних переживаний. Но не одно мастерство Чехова было причиной его огромного и прочного успеха. Запад сразу открыл в Чехове то, что колебались признать в нем русские критики конца прошлого столетия. Европейские и американские читатели почувствовали, что Чехов не только описывает, но и разоблачает, и что в его изображении пошлости, скуки и безличности таится страстная мечта о широкой и яркой жизни.

Современная промышленная цивилизация с ее механизацией труда, с ее огромными городскими центрами, создающими многомиллионные штампы быта, развлечений и мысли, родила ту самую болезнь одинаковости, безличности и скуки, которые составляют основные темы Чехова. Русский писатель изображал отчужденность незаметной провинциальной жизни в России, а западный читатель увидел в этих рассказах о тусклости быта 90 годов знакомую картину нынешней нивелировки «среднего человека». Когда мы читаем повествования о романтических героях, мы испытываем обольщение их силой, страстью, высокими замислами или преступлениями, мы увлечены пестротой событий, и в чарующем обмане готовы поверить даже в бессмертие души. Но о каком бессмертии души можно думать в шесть часов вечера в ползучей железной дороге Нью-Йорка и Лондона, когда из контор и магазинов выползают человеческие муравьи? Пышные слова замирают на устах при взгляде на стандартизованные массы, осужденные на лямку одинакового труда, на железный круг бытовой монотонности и умственной ограниченности. А Чехов говорит именно о маленьких, скучных людях, прозябающих в обыденщине и пошлости. Неудивительно, что в наш век, вплотную подошедший к проблеме «малых сих», Чехов нашел такой сочувственный отклик на Западе.

Все знают, что одиночество — один из характерных при-

знаков городской жизни. Чем выше небоскребы, чем многочисленнее улицы, тем отчужденнее чувствует себя горожанин. А большинство рассказов Чехова говорит о том, что люди не понимают друг друга, что в своих беседах каждый произносит безнадежный монолог, что никто никого не слушает, и параллельные линии наших слов и жизней почти никогда не сходятся. Опять таки — тема, по существу близкая современности и условиям существования западного человека.

И в то же время Чехов — гуманист. Ток теплоты и снисходительности исходит из скупых строк его повестей. Он изображает жизнь в объективной, почти беспощадной манере, отбрасывая всяческие ходули, романтизм, дешевые фразы, пустой сентиментализм. Он обнажает истинную сущность сердца и дел. Он постоянно разоблачает пошлость, пустоту, напыщенность и лицемерие. Но уже в 1887 году он писал: «задача художника правдиво нарисовать жизнь и к стати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы». А нормой для него была «абсолютная свобода человека, свобода от насилия, предразсудков, невежества, чорта. И тоска по этой свободной жизни звучит в произведениях Чехова, как надежда, — и поэтому западный читатель ощущает его, как писателя, чуждого тому беспримесному пессимизму, какой «издавался» многими европейскими художниками, изображавших, как напр., Синклер Лус или Дрейзер, обезличенные и тупость «больших улиц» нашей цивилизации.

Чехов оказался созвучным западным исканиям, потому что и для России, и для Европы он был писателем переломного периода, в который особенно осязательна тоска по новым формам жизни. Все чеховское творчество — отталкивается от нелености и скуки того, что он рисует. И в этом его огромная освободительная и очистительная сила, подчинившая себе западного читателя. В Англии и Америке, во Франции и в Дании сотни тысяч людей почувствовали в Чехове то, что так сжато формулировал Горький: «много скучной серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека сказал — «скверно вы живете, господа».

Марк Слоним.